

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆

МИХАИЛ
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН



Господа Головлевы



МОСКВА
2023

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
С16

Оформление серии *Натальи Ярусовой*

В коллаже на обложке использованы фрагменты работ
художника *Джорджа Гудвина Килберна*

Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович.

С16 Господа Головлевы / Михаил Салтыков-Щедрин. —
Москва : Эксмо, 2023. — 352 с. — (Всемирная литература
(с картинкой)).

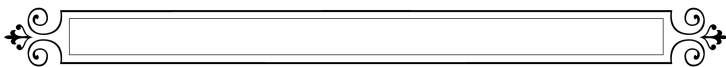
ISBN 978-5-04-177849-1

Михаил Салтыков-Щедрин — выдающийся романист-реалист и сатирик XIX века. Почти всю жизнь он посвятил работе государственным служащим, пока не сменил Николая Некрасова на посту редактора одного из первых русских литературных журналов «Отечественные записки». Самое известное его творение, ставшее классикой русской литературы, — семейная сага «Господа Головлевы». Арина Петровна — строгая и практичная помещица, перед которой трепещут не только слуги, но и семья. Несмотря на богатство, она тщательно контролирует бюджет и ограничивает траты. Однако над родовым поместьем сгущаются тучи, когда женщина теряет власть из-за вероломных интриг сына Порфирия.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-177849-1

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2023



СЕМЕЙНЫЙ СУД

Однажды бурмистр из дальней вотчины, Антон Васильев, окончив барыне Арине Петровне Головлевой доклад о своей поездке в Москву для сбора оброков с проживающих по паспортам крестьян и уже получив от нее разрешение идти в людскую, вдруг как-то таинственно замаялся на месте, словно бы за ним было еще какое-то слово и дело, о котором он и решался и не решался доложить.

Арина Петровна, которая насквозь понимала не только малейшие телодвижения, но и тайные помыслы своих приближенных людей, немедленно обеспокоилась.

— Что еще? — спросила она, смотря на бурмистра в упор.

— Все-с, — попробовал было отвитьнуть Антон Васильев.

— Не ври! еще есть! по глазам вижу!

Антон Васильев, однако ж, не решался ответить и продолжал переступать с ноги на ногу.

— Сказывай, какое еще дело за тобой есть? — решительным голосом прикрикнула на него Арина Петровна, — говори! не вилай хвостом... сума переметная!

Арина Петровна любила давать прозвища людям, составлявшим ее административный и домашний персонал. Антона Васильева она прозвала «переметной сумой» не за то, чтоб он в самом деле был когда-нибудь замечен в предательстве, а за то, что был слаб на язык.

Имение, которым он управлял, имело своим центром значительное торговое село, в котором было большое число трактиров. Антон Васильев любил попить чайку в трактире, похвастаться всемогуществом своей барыни и во время этого хвастовства незаметным образом провирался. А так как у Арины Петровны постоянно были в ходу различные тяжбы, то частенько случалось, что болтливость доверенного человека выводила наружу барынины военные хитрости прежде, нежели они могли быть приведены в исполнение.

— Есть, действительно... — пробормотал наконец Антон Васильев.

— Что? что такое? — взволновалась Арина Петровна.

Как женщина властная и притом в сильной степени одаренная творчеством, она в одну минуту нарисовала себе картину всевозможных противоречий и противодействий и сразу так усвоила себе эту мысль, что даже побледнела и вскочила с кресла.

— Степан Владимырьч дом-то в Москве продали... — доложил бурмистр с расстановкой.

— Ну?

— Продали-с.

— Почему? как? не мни! сказывай!

— За долги... так нужно полагать! Известно, за хорошие дела продавать не станут.

— Стало быть, полиция продала? суд?

— Стало быть, что так. Сказывают, в восьми тысячах с аукциона дом-то пошел.

Арина Петровна грузно опустилась в кресло и уставилась глазами в окно. В первые минуты известие это, по-видимому, отняло у нее сознание. Если б ей сказали, что Степан Владимырьч кого-нибудь убил, что головлевские мужики взбунтовались и отказываются идти на барщину или что крепостное право рушилось, — и тут она не была бы до такой степени поражена. Губы ее шевелились, глаза смотрели куда-то вдаль, но ничего не видели.

Она не заметила даже, что в это самое время девчонка Дуняшка ринулась было с разбега мимо окна, закрывая что-то передником, и вдруг, завидев барыню, на мгновение закружилась на одном месте и тихим шагом поворотила назад (в другое время этот поступок вызвал бы целое следствие). Наконец она, однако, опамятавалась и произнесла:

— Какова потеха!

После чего опять последовало несколько минут грозного молчания.

— Так ты говоришь, полиция за восемь тысяч дом-то продала? — переспросила она.

— Так точно.

— Это — родительское-то благословение! Хорош... мерзавец!

Арина Петровна чувствовала, что, ввиду полученного известия, ей необходимо принять немедленное решение, но ничего придумать не могла, потому что мысли ее путались в совершенно противоположных направлениях. С одной стороны, думалось: «Полиция продала! ведь не в одну же минуту она продала! чай, опись была, оценка, вызовы к торгам? Продали за восемь тысяч, тогда как она за этот самый дом, два года тому назад, собственными руками двенадцать тысяч, как одну копейку, выложила! Кабы знать да ведать, можно бы и самой за восемь-то тысяч с аукциона приобрести!» С другой стороны, приходило на мысль и то: «Полиция за восемь тысяч продала! Это — родительское-то благословение! Мерзавец! За восемь тысяч родительское благословение спустил!»

— От кого слышал? — спросила наконец она, окончательно остановившись на мысли, что дом уже продан и что, следовательно, надежда приобрести его за дешевую цену утрачена для нее навсегда.

— Иван Михайлов, трактирщик, сказывал.

— А почему он вовремя меня не предупредил?

— Поопасился, стало быть.

— Поопасился! вот я ему покажу: «поопасился»! Вызвать его из Москвы, и как явится — сейчас же в рекрутское присутствие и лоб забрить! «Поопасился»!

Хотя крепостное право было уже на исходе, но еще существовало. Не раз случалось Антону Васильеву выслушивать от барыни самые своеобразные приказания, но настоящее ее решение было до того неожиданно, что даже и ему сделалось не совсем ловко. Прозвище «сума переметная» невольно ему при этом вспомнилось. Иван Михайлов был мужик обстоятельный, об котором и в голову не могло прийти, чтобы над ним могла стрястись какая-нибудь беда. Сверх того, это был его приятель душевный и кум — и вдруг его в солдаты, ради того только, что он, Антон Васильев, как сума переметная, не сумел язык за зубами попридержать!

— Простите... Ивана-то Михайлыча! — заступился было он.

— Ступай... потатчик! — прикрикнула на него Арина Петровна, но таким голосом, что он и не подумал упорствовать в дальнейшей защите Ивана Михайлова.

Но прежде, нежели продолжать мой рассказ, я попрошу читателя поближе познакомиться с Ариной Петровной Головлевой и семейным ее положением.

Арина Петровна — женщина лет шестидесяти, но еще бодрая и привыкшая жить на всей своей воле. Держит она себя грозно; единолично и бесконтрольно управляет обширным головлевским имением, живет уединенно, расчетливо, почти скупое, с соседями дружбы не водит, местным властям доброхотствует, а от детей требует, чтоб они были в таком у нее послушании, чтобы при каждом поступке спрашивали себя: что-то об этом маменька скажет? Вообще имеет характер самостоятельный, непреклонный и отчасти строптивый, чему, впрочем, немало способствует и то, что во всем головлевском семействе нет ни одного человека, со стороны которо-

го она могла бы встретить себе противодействие. Муж у нее — человек легкомысленный и пьяненький (Арина Петровна охотно говорит об себе, что она — ни вдова, ни мужняя жена); дети частью служат в Петербурге, частью — пошли в отца и, в качестве «постылых», не допускаются ни до каких семейных дел. При этих условиях Арина Петровна рано почувствовала себя одинокою, так что, говоря по правде, даже от семейной жизни совсем отвыкла, хотя слово «семья» не сходит с ее языка, и, по наружности, всеми ее действиями исключительно руководят непрестанные заботы об устройстве семейных дел.

Глава семейства, Владимир Михайлыч Головлев, еще смолоду был известен своим безалаберным и озорным характером, и для Арины Петровны, всегда отличавшейся серьезностью и деловитостью, никогда ничего симпатичного не представлял. Он вел жизнь праздную и бездельную, чаще всего запирался у себя в кабинете, подражал пению скворцов, петухов и т. д. и занимался сочинением так называемых «вольных стихов». В минуты откровенных излияний он хвастался тем, что был другом Баркова и что последний будто бы даже благословил его на одре смерти. Арина Петровна сразу не залюбила стихов своего мужа, называла их паскудством и паясничаньем, а так как Владимир Михайлыч собственно для того и женился, чтобы иметь всегда под рукой слушателя для своих стихов, то понятно, что размолвки не заставили долго ждать себя. Постепенно разрастаясь и ожесточаясь, размолвки эти кончились, со стороны жены, полным и презрительным равнодушием к мужу-шуту, со стороны мужа — искреннею ненавистью к жене, ненавистью, в которую, однако ж, входила значительная доля трусости. Муж называл жену «ведьмою» и «чертом», жена называла мужа — «ветряною мельницей» и «бесструнной балалайкой». Находясь в таких отношениях, они пользовались совместною жизнью в продолжение с лишком сорока лет, и никогда ни тому, ни другой не

приходило в голову, чтобы подобная жизнь заключала в себе что-либо противоестественное. С течением времени озорливость Владимира Михайлыча не только не уменьшилась, но даже приобрела еще более злостный характер. Независимо от стихотворных упражнений в барковском духе, он начал попивать и охотно подкарауливал в коридоре горничных девок. Сначала Арина Петровна отнеслась к этому новому занятию своего мужа брезгливо и даже с волнением (в котором, однако ж, больше играла роль привычка властности, нежели прямая ревность), но потом махнула рукой и наблюдала только за тем, чтоб девки-поганки не носили баринову ерофеича. С тех пор, сказавши себе раз навсегда, что муж ей не товарищ, она все внимание свое устремила исключительно на один предмет: на округление головлевского имения, и действительно, в течение сорокалетней супружеской жизни успела удесятерить свое состояние. С изумительным терпением и зоркостью подкарауливала она дальние и ближние деревни, разузнавала по секрету об отношениях их владельцев к опекунскому совету и всегда, как снег на голову, являлась на аукционах. В круговороте этой фанатической погони за благоприобретением Владимир Михайлыч все дальше и дальше уходил на задний план, а наконец и совсем одичал. В минуту, когда начинается этот рассказ, это был уже дряхлый старик, который почти не оставлял постели, а ежели изредка и выходил из спальни, то единственно для того, чтоб просунуть голову в полурастворенную дверь жениной комнаты, крикнуть: «Черт!» — и опять скрыться.

Немного более счастлива была Арина Петровна и в детях. У нее была слишком независимая, так сказать, холостая натура, чтобы она могла видеть в детях что-нибудь, кроме лишней обузы. Она только тогда дышала свободно, когда была одна со своими счетами и хозяйственными предприятиями, когда никто не ме-

шал ее деловым разговорам с бурмистрами, старостами, ключницами и т. д. В ее глазах дети были одною из тех фаталистических жизненных обстановок, против совокупности которых она не считала себя вправе протестовать, но которые тем не менее не затрагивали ни одной струны ее внутреннего существа, всецело отдавшегося бесчисленным подробностям жизнестроительства. Детей было четверо: три сына и дочь. О старшем сыне и об дочери она даже говорить не любила; к младшему сыну была более или менее равнодушна и только среднего, Порфишу, не то чтоб любила, а словно побаивалась.

Степан Владимырьч, старший сын, об котором преимущественно идет речь в настоящем рассказе, слыл в семействе под именем Степки-балбеса и Степки-озорника. Он очень рано попал в число «постылых» и с детских лет играл в доме роль не то парии, не то шута. К несчастью, это был даровитый малый, слишком охотно и быстро воспринимавший впечатления, которые вырабатывала окружающая среда. От отца он перенял неистощимую проказливость, от матери — способность быстро угадывать слабые стороны людей. Благодаря первому качеству он скоро сделался любимцем отца, что еще больше усилило нелюбовь к нему матери. Часто, во время отлучек Арины Петровны по хозяйству, отец и подросток-сын удалялись в кабинет, украшенный портретом Баркова, читали стихи вольного содержания и судачили, причем в особенности доставалось «ведьме», то есть Арине Петровне. Но «ведьма» словно чутьем угадывала их занятия; неслышно подъезжала она к крыльцу, подходила на цыпочках к кабинетной двери и подслушивала веселые речи. Затем следовало немедленное и жестокое избиение Степки-балбеса. Но Степка не унимался; он был нечувствителен ни к побоям, ни к увещаниям и через полчаса опять принимался куролесить. То косынку у девки Анютки изрежет в куски, то сонной Васютке мух в рот напустит, то заберется на кухню и стянет там пирог

(Арина Петровна, из экономии, держала детей впроголодь), который, впрочем, тут же разделит с братьями.

— Убить тебя надо! — постоянно твердила ему Арина Петровна, — убью — и не отвечу! И царь меня не накажет за это!

Такое постоянное принижение, встречая почву мягкую, легко забывающую, не прошло даром. Оно имело в результате не озлобление, не протест, а образовало характер рабский, повадливый до буффонства, не знающий чувства меры и лишенный всякой предусмотрительности. Такие личности охотно поддаются всякому влиянию и могут сделаться чем угодно: пропойцами, попрошайками, шутами и даже преступниками.

Двадцати лет Степан Головлев кончил курс в одной из московских гимназий и поступил в университет. Но студенчество его было горькое. Во-первых, мать давала ему денег ровно столько, сколько требовалось, чтоб не пропасть с голода; во-вторых, в нем не оказывалось ни малейшего позыва к труду, а взамен того гнездилась проклятая талантливость, выражавшаяся преимущественно в способности к передразниванию; в-третьих, он постоянно страдал потребностью общества и ни на минуту не мог оставаться наедине с самим собой. Поэтому он остановился на легкой роли приживальщика и *rique-assiett'*¹ и, благодаря своей податливости на всякую штуку, скоро сделался фаворитом богатеньких студентов. Но богатенькие, допуская его в свою среду, все-таки разумели, что он им не пара, что он только шут, и в этом именно смысле установилась его репутация. Ставши однажды на эту почву, он, естественно, тяготел все ниже и ниже, так что к концу 4-го курса вышутился окончательно. Тем не меньше, благодаря способности быстро схватывать и запоминать слышанное, он выдержал экзамен с успехом и получил степень кандидата.

¹ Нахлебника (*фр.*).

Когда он явился к матери с дипломом, Арина Петровна только пожалала плечами и промолвила: дивлюсь! Затем, продержав с месяц в деревне, отправила его в Петербург, назначив на прожиток по сту рублей ассигнациями в месяц. Начались скитания по департаментам и канцеляриям. Протекций у него не было, охоты пробить дорогу личным трудом — никакой. Праздная мысль молодого человека до того отвыкла сосредоточиваться, что даже бюрократические испытания, вроде докладных записок и экстрактов из дел, оказывались для нее непосильными. Четыре года бился Головлев в Петербурге и наконец должен был сказать себе, что надежда устроиться когда-нибудь выше канцелярского чиновника для него не существует. В ответ на его сетования Арина Петровна написала грозное письмо, начинавшееся словами: «я зараньше в сем была уверена» и кончавшееся приказанием явиться в Москву. Там, в совете излюбленных крестьян, было решено определить Степку-балбеса в надворный суд, поручив его надзору подьячего, который исстари ходатайствовал по головлевским делам. Что делал и как вел себя Степан Владимырьч в надворном суде — неизвестно, но через три года его уж там не было. Тогда Арина Петровна решилась на крайнюю меру: она «выбросила сыну кусок», который, впрочем, в то же время должен был изображать собою и «родительское благословение». Кусок этот состоял из дома в Москве, за который Арина Петровна заплатила двенадцать тысяч рублей.

В первый раз в жизни Степан Головлев вздохнул свободно. Дом обещал давать тысячу рублей серебром дохода, и сравнительно с прежним эта сумма представлялась ему чем-то вроде заправского благосостояния. Он с увлечением поцеловал у маменьки ручку («то-то же, смотри у меня, балбес! не жди больше ничего!» — молвила при этом Арина Петровна) и обещал оправдать оказанную ему милость. Но, увы! он так мало привык обращаться

с деньгами, так нелепо понимал размеры действительной жизни, что сказочной годовой тысячи рублей доста-ло очень ненадолго. В какие-нибудь четыре-пять лет он прогорел окончательно и был рад-радехонек поступить, в качестве заместителя, в ополчение, которое в это время формировалось. Ополчение, впрочем, дошло только до Харькова, как был заключен мир, и Головлев опять вернулся в Москву. Его дом был уже в это время продан. На нем был ополченский мундир, довольно, однако ж, потертый, на ногах — сапоги навывпуск и в кармане — сто рублей денег. С этим капиталом он поднялся было на спекуляцию, то есть стал играть в карты, и недолге проиграл все. Тогда он принялся ходить по зажиточным крестьянам матери, жившим в Москве своим хозяйством; у кого обедал, у кого выпрашивал четвертку табаку, у ко-го по мелочи занимал. Но, наконец, наступила минута, когда он, так сказать, очутился лицом к лицу с глухой стеной. Ему было уже под сорок, и он вынужден был со-знаться, что дальнейшее бродячее существование для не-го не по силам. Оставался один путь — в Головлево.

После Степана Владимирыча старшим членом го-ловлевского семейства была дочь, Анна Владимировна, о которой Арина Петровна тоже не любила говорить.

Дело в том, что на Аннушку Арина Петровна имела виды, а Аннушка не только не оправдала ее надежд, но вместо того на весь уезд учинила скандал. Когда дочь вышла из института, Арина Петровна поселила ее в де-ревне, в чайанье сделать из нее дарового домашнего се-кретаря и бухгалтера, а вместо того Аннушка, в одну прекрасную ночь, бежала из Головлева с корнетом Ула-новым и повенчалась с ним.

— Так, без родительского благословения, как собаки, и повенчались! — сетовала по этому случаю Арина Пе-тровна. — Да хорошо еще, что крутом налоя-то муженек обвел! Другой бы попользовался — да и был таков! Ищи его потом да свищи!

И с дочерью Арина Петровна поступила столь же решительно, как и с постылым сыном: взяла и «выбросила ей кусок». Она отделила ей капитал в пять тысяч и деревнюшку в тридцать душ с упалою усадьбой, в которой из всех окон дуло и не было ни одной живой половицы. Года через два молодые капитал прожили, и корнет неизвестно куда бежал, оставив Анну Владимировну с двумя дочерьми-близнецами: Аннинькой и Любинькой. Затем и сама Анна Владимировна через три месяца скончалась, и Арина Петровна волей-неволей должна была приютить круглых сирот у себя. Что она и исполнила, поместив малюток во флигеле и приставив к ним кривую старуху Палашку.

— У бога милостей много, — говорила она при этом, — сиротки хлеба не бог знает что съедят, а мне на старости лет — утешение! Одну дочку бог взял — двух дал!

И в то же время писала к сыну Порфирию Владимычу: «Как жила твоя сестрица беспутно, так и умерла, покинув мне на шею своих двух шенков...»

Вообще, как ни циничным может показаться это замечание, но справедливость требует сознаться, что оба эти случая, по поводу которых произошло «выбрасывание кусков», не только не произвели ущерба в финансах Арины Петровны, но косвенным образом даже способствовали округлению головлевского имения, сокращая число пайщиков в нем. Ибо Арина Петровна была женщина строгих правил и, раз «выбросивши кусок», уже считала поконченными все свои обязанности относительно постылых детей. Даже при мысли о сиротавнучках ей никогда не представлялось, что со временем придется что-нибудь уделить им. Она старалась только как можно больше выжать из маленького имения, отделенного покойной Анне Владимировне, и откладывать выжатое в опекунский совет. При чем говорила:

— Вот и для сирот денежки прикапливаю, а что они прокормлением да уходом стоят — ничего уж с них не беру! За мою хлеб-соль, видно, бог мне заплатит!

Наконец младшие дети, Порфирий и Павел Владимычи, находились на службе в Петербурге: первый — по гражданской части, второй — по военной. Порфирий был женат, Павел — холостой.

Порфирий Владимыч известен был в семействе под тремя именами: Иудушки, кровопивушки и откровенного мальчика, каковые прозвища еще в детстве были ему даны Степкой-балбесом. С младенческих лет любил он приласкаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать ее в плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворит, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется в уголок, сядет и, словно очарованный, не сводит глаз с маменьки, покуда она пишет или возится со счетами. Но Арина Петровна уже и тогда с какою-то подозрительностью относилась к этим сыновним заискиваньям. И тогда этот пристально устремленный на нее взгляд казался ей загадочным, и тогда она не могла определить себе, что именно он источает из себя: яд или сыновнюю почтительность.

— И сама понять не могу, что у него за глаза такие, — рассуждала она иногда сама с собою, — взглянет — ну, словно вот петлю закидывает. Так вот и поливает ядом, так и подманивает!

И припомнились ей при этом многозначительные подробности того времени, когда она еще была «тяжелая» Порфишей. Жил у них тогда в доме некоторый благочестивый и прозорливый старик, которого называли Порфишей-блажененьким и к которому она всегда обращалась, когда желала что-либо провидеть в будущем. И вот этот-то самый старец, когда она спросила его, скоро ли последуют роды и кого-то бог даст ей, сына или дочь — ничего прямо ей не ответил, но три раза прокричал петухом и вслед за тем пробормотал:

— Петушок, петушок! востер ноготок! Петух кричит, наседке грозит; наседка — кудах-тах-тах, да поздно будет!

И только. Но через три дня (вот оно — три раза-то прокричал!) она родила сына (вот оно — петушок-петушок!), которого и назвали Порфирием, в честь старца-провидца...

Первая половина пророчества исполнилась; но что могли означать таинственные слова: «наседка — кудахтах-тах, да поздно будет»? — вот об этом-то и задумывалась Арина Петровна, взглядывая из-под руки на Порфишу, покуда тот сидел в своем углу и смотрел на нее своим загадочным взглядом.

А Порфиша продолжал себе сидеть кротко и бесшумно и все смотрел на нее, смотрел до того пристально, что широко раскрытые и неподвижные глаза его подергивались слезою. Он как бы провидел сомнения, шевелившиеся в душе матери, и вел себя с таким расчетом, что самая придирчивая подозрительность — и та должна была признать себя безоружною перед его кротостью. Даже рискуя надоесть матери, он постоянно вертелся у ней на глазах, словно говорил: «Смотри на меня! Я ничего не утаиваю! Я весь послушливость и преданность, и притом послушливость не токмо за страх, но и за совесть». И как ни сильно говорила в ней уверенность, что Порфишка-подлец только хвостом лебезит, а глазами все-таки петлю накидывает, но ввиду такой беззаветности и ее сердце не выдерживало. И невольно рука ее искала лучшего куска на блюде, чтоб передать его ласковому сыну, несмотря на то, что один вид этого сына поднимал в ее сердце смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго.

Совершенную противоположность с Порфирием Владимирычем представлял брат его, Павел Владимирыч. Это было полнейшее олицетворение человека, лишённого каких бы то ни было поступков. Еще мальчиком, он не выказывал ни малейшей склонности ни к ученью, ни к играм, ни к общительности, но любил жить особняком, в отчуждении от людей. Забьется, бывало, в угол, надуется и начнет фантазировать. Пред-

ставляется ему, что он толокна наелся, что от этого ноги сделались у него тоненькие, и он не учится. Или — что он не Павел — дворянский сын, а Давыдка-пастух, что на лбу у него выросла болона, как и у Давыдки, что он арапником щелкает и не учится. Поглядит-поглядит, бывало, на него Арина Петровна, и так и раскипятится ее материнское сердце.

— Ты что, как мышь на крупу, надулся! — не утерпит, прикрикнет она на него, — или уж с этих пор в тебе яд-то действует! нет того, чтобы к матери подойти: маменька, мол, приласкайте меня, душенька!

Павлуша покидал свой угол и медленными шагами, словно его в спину толкали, приближался к матери.

— Маменька, мол, — повторял он каким-то неестественным для ребенка басом, — приласкайте меня, душенька!

— Пошел с моих глаз... тихоня! ты думаешь, что забьешься в угол, так я и не понимаю? Насквозь тебя понимаю, голубчик! все твои планы-прожекты как на ладони вижу!

И Павел тем же медленным шагом отправлялся назад и забивался опять в свой угол.

Шли годы, и из Павла Владимырыча постепенно образовывалась та апатичная и загадочно-угрюмая личность, из которой, в конечном результате, получается человек, лишенный поступков. Может быть, он был добр, но никому добра не сделал; может быть, был и не глуп, но во всю жизнь ни одного умного поступка не совершил. Он был гостеприимен, но никто не льстился на его гостеприимство; он охотно тратил деньги, но ни полезного, ни приятного результата от этих трат ни для кого никогда не происходило; он никого никогда не обидел, но никто этого не вменял ему в достоинство; он был честен, но не слышали, чтоб кто-нибудь сказал: как честно поступил в таком-то случае Павел Головлев! В довершение всего он нередко огрызался против мате-

ри и в то же время боялся ее, как огня. Повторяю: это был человек угрюмый, но за его угрюмостью скрывалось отсутствие поступков — и ничего больше.

В зрелом возрасте различие характеров обоих братьев всего резче высказалось в их отношениях к матери. Иудушка каждую неделю аккуратно слал к маменьке обширное послание, в котором пространно уведомлял ее о всех подробностях петербургской жизни и в самых изысканных выражениях уверял в бескорыстной сыновней преданности. Павел писал редко и кратко, а иногда даже загадочно, словно клещами вытаскивал из себя каждое слово. «Деньги столько-то и на такой-то срок, бесценный друг маменька, от доверенного вашего, крестьянина Ерофеева, получил, — уведомлял, например, Порфирий Владимирыч, — а за присылку оных, для употребления на мое содержание, согласно вашему, милая маменька, соизволению, приношу чувствительнейшую благодарность и с нелицемерною сыновнею преданностью целую ваши ручки. Об одном только грущу и сомнением мучусь: не слишком ли утруждаете вы драгоценное ваше здоровье непрерывными заботами об удовлетворении не только нужд, но и прихотей наших?! Не знаю, как брат, а я...» и т. д. А Павел, по тому же поводу, выражался: «Деньги столько-то на такой-то срок, дражайшая родительница, получил, и, по моему расчету, следует мне еще шесть с полтиной дополучить, в чем и прошу вас меня почтеннейше извинить». Когда Арина Петровна посылала детям выговоры за мотовство (это случалось нередко, хотя серьезных поводов и не было), то Порфиша всегда с смирением покорялся этим замечаниям и писал: «Знаю, милый дружок маменька, что вы несете непосильные тяготы ради нас, недостойных детей ваших; знаю, что мы очень часто своим поведением не оправдываем ваших материнских об нас попечений и, что хуже, по свойственному человекам заблуждению, даже забываем о сем, в чем и приношу

вам искреннее сыновнее извинение, надеясь со временем от порока сего избавиться и быть, в употреблении присылаемых вами, бесценный друг маменька, на содержание и прочие расходы денег осмотрительным». А Павел отвечал так: «Дражайшая родительница! хотя вы долгов за меня еще не платили, но выговор в названии меня беспрепятственно принимаю, в чем и прошу чувствительнейше принять уверение». Даже на письмо Арины Петровны, с извещением о смерти сестрицы Анны Владимировны, оба брата отозвались различно. Порфирий Владимырьч писал: «Известие о кончине любезной сестрицы и доброй подруги детства Анны Владимировны поразило мое сердце скорбию, каковая скорбь еще более усилилась при мысли, что вам, милый друг маменька, посылается еще новый крест, в лице двух сирот-малюток. Ужели еще недостаточно, что вы, общая наша благодетельница, во всем себе отказываете и, не щадя своего здоровья, все силы к тому направляете, дабы обеспечить свое семейство не только нужным, но и излишним? Право, хоть и грешно, но иногда невольно поропщешь. И единственное, по моему мнению, для вас, родная моя, в настоящем случае, убежище — это сколь можно чаще припоминать, что вытерпел сам Христос». Павел же писал: «Известие о кончине сестры, погибшей жертвою, получил. Впрочем, надеюсь, что всевышний успокоит ее в своих снях, хотя сие и неизвестно».

Перечитывала Арина Петровна эти письма сыновей и все старалась угадать, который из них ей злодеем будет. Прочтет письмо Порфирия Владимырьча, и кажется, что вот он-то и есть самый злодей.

— Ишь ведь как пишет! ишь как языком-то вертит! — восклицала она, — недаром Степка-балбес Иудушкой его прозвал! Ни одного-то ведь слова верного нет! все-то он лжет! и «милый дружок маменька», и про тягости-то мои, и про крест-то мой... ничего он этого не чувствует!